

Л

юди-братья, позвольте рассказать вам, как все было. Мы тебе не братья, – возразите вы, – и знать ничего не хотим. Правда ваша, история темная, но назидательная, – настоящая нравоучительная повесть, уверяю вас. Боюсь, коротко не получится, но, в конце концов, столько событий произошло, и вдруг вы не слишком торопитесь и сможете уделить мне время. И к тому же вас это тоже касается, и вы увидите, до какой степени касается. Не думайте, я не пытаюсь вас ни в чем убедить; оставайтесь при своем мнении. Если теперь, спустя годы, я и решил

писать, то в первую очередь для того, чтобы не вам, а себе самому многое прояснить. Долго-долго ползаешь по земле, как гусеница, ждешь, когда выпорхнет на волю прекрасная воздушная бабочка, прячущаяся внутри тебя. Время идет, а червяк в куколку не превращается, – прискорбный факт, но что поделать? Самоубийство, конечно, тоже вариант. Но, честно говоря, меня оно никогда не привлекало. Я, разумеется, не раз думал о нем; если бы другого выхода не осталось, я бы выбрал следующее: прижал бы гранату к сердцу и расстался с жизнью с радостным треском. Прежде чем спустить рычаг маленькой круглой гранаты, я осторожно вынул бы чеку, улыбнувшись металлическому звуку развернувшейся пружины, последнему, который я услышу, не считая пульсирующего стука в висках. А потом – долгожданное счастье или, по крайней мере, покой и стены кабинета, украшенные тысячами кровавых ошметков. И пусть уборщицы наводят порядок – не слишком приятное занятие, но ведь за это им, собственно, и платят. Но, как я уже сказал, самоубийство не по мне. Впрочем, непонятно почему, скорее всего, из-за морально-философских пережитков, заставляющих меня повторять, что мы здесь не для развлечения. Для чего же тогда? Я не знаю, наверное, чтобы пожить подольше, чтобы убивать время, пока оно не убьет нас. И для этой цели писать – ничуть не хуже другого занятия. Нет, убивать время мне не приходится, я достаточно загружен: семья, работа, одним словом, множество обязанностей, когда уж тут пускаться в воспоминания. А ведь их хоть отбавляй. Я – настоящая фабрика воспоминаний. И всю жизнь только их бы и производил, но на сегодняшний день деньги мне приносит кружево. Вообще-то, я мог бы ничего не писать. Обязательств в этом отношении у меня нет. После войны я жил, не привлекая к себе внимания; слава богу, мне, в отличие от кое-кого из прежних сослуживцев, нет нужды писать мемуары ни в собственное оправдание, ибо оправдываться мне не в чем, ни ради денег: я прилично зарабатываю. Однажды, будучи по делам в Германии, я вел переговоры с директором крупной фирмы по пошиву нижнего белья, которому хотел продать партию кружев. Меня ему рекомендовали старые друзья, поэтому мы без лишних вопросов поняли друг друга. После плодотворной беседы директор встал, снял с полки книгу и подарил мне. Это были мемуары Ганса Франка, генерал-губернатора Польши, опубликованные посмертно под заглавием «Лицом к эшафоту». «Я получил

письмо от его вдовы, – объяснил директор. – После процесса Франк оставил записи, которые она издала на собственные средства, и теперь продает книгу, чтобы прокормить детей. Вообразите, до чего дошло? Вдова генерал-губернатора! Я заказал двадцать экземпляров, раздаю при случае. И еще предложил всем начальникам отделов купить по одному. Она очень трогательно благодарила в ответ. Кстати, вы были знакомы с Франком?» Я сказал, что нет, но книгу прочту с интересом. На самом деле я с ним пересекался, возможно, я расскажу вам об этом позже, если хватит мужества или терпения. Но я не видел смысла признаваться в этом директору. Книга, впрочем, оказалась совершенно неудачной, сумбурной, плаксивой, насквозь пропитанной лицемерной набожностью. Мои заметки тоже наверняка назовут сумбурными и неудачными, но я постараюсь быть четким; по крайней мере, я обещаю не докучать вам покаянной исповедью. Мне жалеть не о чем: я лишь выполнял свою работу, а семейные дела – я и о них, возможно, расскажу – касаются только меня. Да, в конце я, конечно, натворил дел, но я уже был сам не свой, словно потерял равновесие, да и весь мир вокруг пошатнулся; я не единственный, у кого в тот момент помутился рассудок, согласитесь. И потом я пишу не для того, чтобы моя вдова и дети не умерли с голоду, я способен их обеспечить. Нет, если я все же собрался писать, то, во-первых, чтобы занять свой досуг, и еще, пожалуй, чтобы прояснить кое-что – для себя, а может быть, и для вас. Кроме того, я думаю, что мне это пойдет на пользу. Настроение у меня и вправду поганое. Наверняка из-за запоров. Изматывающая и мучительная проблема, и вдобавок для меня совершенно новая: раньше все было наоборот. Я по три-четыре раза на дню бегал в уборную, а теперь раз в неделю – уже счастье. Приходится прибегать к клизмам, процедура на редкость неприятная, но эффективная. Извините за скабрзные подробности, но я тоже имею право иногда поплакаться. Если вам что-то не нравится, дальше не читайте. Я не Ганс Франк, не люблю кривляний. Я уж, как умею, стремлюсь к достоверности. Несмотря на перипетии, которых на моем веку было множество, я принадлежу к людям, искренне полагающим, что человеку на самом деле необходимо лишь дышать, есть, пить, испражняться, искать истину. Остальное необязательно.

Недавно жена принесла в дом черного кота, хотела меня порадовать. Моего мнения, разумеется, не спросила. Видимо, подозревала, что я наотрез откажусь, и поставила перед фактом. А коль животное попало в дом, уже ничего не поделаешь, внуки расстроятся и т. д. и т. п. Но кот был на редкость противный. Если я пытался его погладить, приласкать, прыгал на подоконник и тарачил на меня желтые глаза; если брал на руки, царапался. Но по ночам клубком сворачивался на моей груди, и под его тяжестью мне снилось, что я погребен под камнями и задыхаюсь. Вот и с воспоминаниями нечто похожее. Сначала, задавшись целью их записать, я даже отпуск взял. И, вероятно, совершил ошибку. Вроде и подготовка шла отлично: я накопил и прочитал множество книг, чтобы освежить события в памяти, расчертил схемы, составил развернутую хронологию и прочее, и прочее. Но в отпуске, на досуге, я вдруг пустился в размышления. К тому же стояла осень, против-

ный серый дождь сбивал с деревьев листья, меня постепенно охватывала тревога. Я сделал вывод, что думать вредно.

Раньше я бы так не рассуждал. Среди коллег я слыл человеком спокойным, невозмутимым, рассудительным. Да, разумеется, я спокойный, хотя часто в течение дня голова моя гудит, глухо, словно печь в крематории. Я поддерживаю беседу, спорю, принимаю решения, но у стойки бара за рюмкой коньяка представляю, что в дверях появляется человек с винтовкой и открывает огонь; в кино или в театре мне мерещится граната с вынутой чекой, катящаяся под рядами кресел; на центральной площади в праздник я вижу полыхающую машину, начиненную взрывчаткой, послеобеденное веселье, превращенное в бойню, кровь, струящуюся по брусчатке, куски мяса, прилипшие к стенам или приземлившиеся в тарелке с воскресным супом, слышу крики, стоны людей, которым бомба оторвала конечности, как любопытный мальчишка выдергивает лапки насекомым, ощущаю тупое оцепенение уцелевших, вслушиваюсь в особую, будто залепляющую уши тишину – начало длительного страха. Спокойный? Да, я спокоен, что бы ни стряслось, я и вида не подам, я безучастный, застывший, как безмолвные фасады разгромленных городов, как старички в медалях и с палками на лавках в парках, как зеленоватые под толщей воды лица утопленников, которых никогда не найдут. При всем желании я не в силах нарушить этот жуткий покой. Я не из тех, кто раздражается по пустякам, я хорошо владею собой. Но и мне тяжело. И только что описанные мной сцены отнюдь не худшее; видения такого рода посещали меня давно, с самого детства, наверное; во всяком случае, задолго до того, как я оказался в жерле мясорубки. Война в определенном смысле доказала их правдоподобность, я привык к такого рода эпизодам и воспринимаю их как иллюстрацию бренности всего земного. Нет, самое трудное и утомительное состояние, когда нечем заняться и начинаешь размышлять. Давайте разберемся: о чем вы думаете в течение дня? Вообще-то предметов для размышлений немного. Можно с легкостью систематизировать ваши повседневные мысли: практические мысли, в которых вы сами не отдаете себе отчета, планирование действий и их очередности (пример: поставить на плиту воду для кофе до чистки зубов, а положить хлеб в тостер – после, он быстро поджарится); рабочие проблемы; финансовые вопросы; семейные заботы; сексуальные фантазии. Обойдемся без подробностей. За ужином вы рассматриваете стареющее лицо жены, менее привлекательной в сравнении с любовницей, но в других отношениях вполне подходящей вам, – такова жизнь, ничего не поделаешь, и вы принимаетесь обсуждать последний правительственный кризис. Вам, конечно, глубоко плевать на правительственный кризис, а о чем еще говорить? Уберите подобные мысли, и что в остатке? Согласитесь, немного. Естественно, бывает и по-другому. Неожиданно между двумя рекламами стирального порошка прозвучали такты довоенного танго, скажем, «Виолетты», и вот всплывает в памяти плеск волн в ночи, фонарики кафешки и еле уловимый запах пота веселой женщины рядом с вами; улыбающееся личико ребенка у входа в парк напоминает вам сына, когда он учился ходить; на улице сол-

нечный луч пронзил облака и высветил раскидистую крону и белый ствол платана – и вы вдруг очутились в детстве, во дворе школы, играете на переманке в войну и вопите от восторга и ужаса. Вот и возникла у вас человеческая мысль. Но это редко случается.

Когда в отпуске отрешаешься от работы, привычных обязанностей, повседневной суеты, чтобы посвятить себя серьезному замыслу, все выглядит иначе. И вот черными тяжелыми волнами надвигается прошлое. По ночам спишь беспокойно, мелькают и множатся сны, а наутро в голове едкий влажный туман, и жди, пока он рассеется. Не поймите превратно: речь здесь не о чувстве вины и не об угрызениях совести. Они тоже присутствуют, я не отрицаю, но, уверен, все гораздо сложнее. Даже человек, который никогда не воевал, не убивал по приказу, прочувствует то, о чем я говорю. Припомнит мелкие подлости, трусость, лживость, мелочность – любому есть о чем сокрушаться. Неудивительно, что люди изобрели работу, алкоголь, пустой треп. Неудивительно, что телевидение пользуется успехом. В общем, я прервал свой злополучный отпуск, и к лучшему. А для писанины время у меня и так найдется, днем, за обедом, и вечером, после ухода секретарей.

Вынужденная пауза, меня тошнит, я после продолжу. Еще одна печаль: желудок у меня отказывается принимать пищу, иногда сразу после еды, иногда позже, без причины, просто так. Мучаюсь я уже давно, с войны, и началось это, если быть точным, осенью 1941-го, на Украине, в Киеве, кажется, или в Житомире. Я еще об этом расскажу. С тех пор я уже, конечно, привык: чищу зубы, опрокидываю рюмочку и снова за работу. Вернемся к моим воспоминаниям. Я обзавелся несколькими толстыми школьными тетрадами в клеточку и храню их теперь в запертом на ключ ящике письменного стола. Раньше я делал заметки карандашом на плотных карточках в мелкую клеточку; теперь я решил все систематизировать. Зачем, слабо представляю. Разумеется, не в назидание потомкам. Если я скоропостижно скончаюсь от инфаркта или апоплексического удара и мои секретарши возьмут ключ и откроют ящик, их, бедняжек, самих удар хватит, и жену мою тоже: одних записей на карточках уже будет достаточно. Бумаги надо бы побыстрее сжечь, чтобы избежать скандала. Мне-то все равно, я же умру. И, кстати, пишу я не для вас, хоть к вам и обращаюсь.

Мой кабинет – просторный, строгий, тихий – чудесное место для творчества. Белые, практически ничем не украшенные стены, витрина с образцами; и в глубине стеклянная перегородка, через которую виден расположенный внизу цех. Двойная рама не защищает от несмолкаемого стрекота станков Ливерса. Когда надо подумать, я встаю из-за стола и подхожу к окну, смотрю на станки, стоящие рядами у моих ног, наблюдаю за ловкими, точными движениями мастеров-тюльщиков, меня это умиротворяет. Порой я спускаюсь и прогуливаюсь между машинами. Цех темный, запыленные окна выкрашены в синий, потому что кружево – вещь деликатная и боится яркого света; в синеватом полумраке я чувствую себя хорошо. Мне нравится растворяться в дробном однообразном звуке, заполняющем пространство, навязчивом ритме металлического двухтактного перестука.

Станки меня неизменно восхищают. Чугунные, зеленые, весом в десять тонн каждый. Некоторые старые, такие уже больше не выпускают; запасные части идут по специальному заказу; после войны пар заменили электричеством, но внутренний механизм не тронули. Я к ним не приближаюсь, боюсь испачкаться: множество движущихся деталей нуждается в постоянной смазке, но масло, конечно, испортило бы кружево, поэтому в производстве применяют графит. Толченый графит насыпают в длинный мешочек, похожий на чулок, потом мастер мерно, как кадиллом, размахивает им, припудривая вертящиеся шестеренки. Кружево выходит черным, графит покрывает стены, пол, станки и людей, следящих за работой. Хотя я и нечасто притрагиваюсь к станкам, устройство их мне прекрасно известно. Первые английские тюлевые станки, конструкция которых хранилась в строгом секрете, попали во Францию сразу после Наполеоновских войн, рабочие, не желавшие платить таможенную пошлину, ввезли их контрабандой. Позднее лионец Жаккард приспособил эти станки под изготовление кружева, установив в них перфокарты, расположение отверстий на них определяет узор. Внизу расположены два цилиндра с нитями; внутри душа станка – пять тысяч бобин, умещающихся на каретке; кэтч-бар (во французском языке сохраняются некоторые английские термины) захватывает каретку, приводит ее в равновесие и двигает с громким, завораживающим пощелкиванием вперед-назад. Нити, ведомые медными чесалками, припаянными на свинец, переплетаются в узелки в соответствии со сложным хореографическим рисунком, набитым на пятистах-шестистах перфокартах, прижимная лапка опять приподнимает чесалки, и наконец появляется кружево, тонкое, как паутина, темное от графита, и медленно наматывается на барабан, закрепленный наверху станка.

Работа на заводе строго распределена между сильным и слабым полом: мужчины составляют узоры, перфорируют картон, натягивают нити, следят за станками и остальным цеховым оборудованием; их жены и дочери и по сей день меняют катушки, очищают полотно от графита, подправляют кружево, сортируют и складывают его. Традиции здесь уважают. Тюльщики, скажем так, – рабочая аристократия. Обучение долгое, работа кропотливая; в прежние времена мастера, изготовлявшие кружево «кале», носили цилиндры, приезжали на завод в колясках и обращались к хозяину на «ты». Времена изменились. Война практически уничтожила наше производство, на ходу были лишь несколько станков, продукцию отправляли в Германию. Начинали заново с нуля; сейчас на севере Франции осталось не больше трехсот станков, а ведь до войны запускали четыре тысячи. Теперь, в период экономического подъема, тюльщики обзаводятся автомобилями быстрее иных буржуа. Но со мной рабочие на «вы». Думаю, они меня недолюбливают. Ничего страшного, никто их не просит меня любить. И потом мне самому они не особо приятны. Мы просто работаем вместе. Мастеру ответственному и старательному, у которого кружево не нуждается в дополнительной обработке, в конце года я выдаю премию; тех, кто приходит в цех с опозданием или подшофе, я наказываю. И мы отлично ладим друг с другом.

Возможно, вы спросите, почему я занялся кружевом. Я, честно говоря, никогда не метил в коммерсанты. Изучал право и политическую экономию, я доктор права, и в Германии Dr. jur² становится законной приставкой моего имени. Признаюсь, обстоятельства, сложившиеся после 1945-го, помешали мне работать по специальности. Но если уж вам и вправду интересно все знать, то и юриспруденция не мое призвание: в молодости я увлекался литературой и философией. Но не сложилось – еще одна печальная глава в моем семейном романе; возможно, к этому я еще вернусь. Теперь-то понятно, на кружевной фабрике мне больше пригодились юридическое образование, чем литература. Вот, собственно, примерное развитие событий. Когда все закончилось, мне удалось уехать во Францию и выдать себя за француза; это не составило труда ввиду царившего повсюду хаоса. Я вернулся с теми, кто был выслан из страны, и лишних вопросов ко мне не возникало. К тому же мой французский безупречен, у меня же мать – француженка, в детстве я десять лет жил во Франции, учился в коллеже, лицее, на подготовительных курсах и даже два года в парижской Свободной школе политических наук. Вырос я на юге страны и с легкостью придавал своей речи средиземноморский акцент, но в творившемся бардаке никто на меня внимания не обратил. На набережной Орсе меня встретили одним супом и, можно сказать, по-хамски, но ведь я, сознаюсь, прикидывался не просто высланным, а вывезенным на принудительные работы. Такие голлистам категорически не нравились, и меня, как и других горемык, хорошенько пропесочили, а потом отправили – пусть и не в отель «Лютеция», но восвояси, то есть на свободу. В Париже я не задержался: слишком уж много там знакомых, и сплошь нежелательных, – и отправился в провинцию, промышлял временными заработками. Потом все поутихло. Расстреливать перестали, да и в тюрьмы им сажать надоело. Я навел справки, отыскал одного знакомого. Он ловко выпутался из всех передраг, беспрепятственно перешел на сторону другой власти; будучи человеком дальновидным, тщательно скрывал, какие услуги оказывал нам прежде. Вначале он отказывался меня принимать, потом наконец разобрался, кто я, и понял, что выбора нет. Не скажу, что беседа была приятная: мы вели себя неестественно, скованно. Но он осознал, что интерес у нас общий: у меня – найти работу, у него – не потерять своей. На севере Франции жил его кузен, бывший торговый агент, который теперь пытался создать небольшое предприятие с тремя станками Ливерса, полученными от какой-то разорившейся вдовы. Этот человек взял меня к себе, и я колесил по стране в поисках покупателей на его кружево. Такая работа меня раздражала, и я постепенно убедил его, что больше пригожусь как организатор. В этой области я действительно имел солидный опыт, хотя пользы от него было примерно столько же, сколько от докторской степени. Предприятие расширялось, особенно с пятидесятых годов, когда я установил контакты с ФРГ и открыл немецкий рынок для нашей продукции. Я мог

■ Dr. jur. – сокращенное латинское Doctor juris (доктор права).

У русского читателя книга Джонатана Литтелла неизбежно вызовет не предусмотренные автором ассоциации с сериалом «Семнадцать мгновений весны». И тут и там действие происходит в немецких СС, и тут и там встречаются одни и те же исторические персонажи: Гиммлер, Кальтенбруннер, Мюллер, Шелленберг, Борман. И тут и там эсэсовцы – по крайней мере, многие из них – изображены «по-человечески», у них понятные, распространенные характеры, проблемы, недостатки, а кое у кого и достоинства (скажем, образованность, художественный вкус, критическое мышление), их внешность и быт не лишены эстетической привлекательности. И тут и там главные герои служат примерно в одних и тех же чинах, общаются по службе с высшими лицами нацистской иерархии, но сами остаются «чужими среди своих». В какой-то момент может даже возникнуть головокружительное чувство соприкосновения двух историй, созданных в разных странах, в разное время и с разными намерениями: так, у Литтелла упоминается о том, как Мюллер в апреле 1945 года «искал „крота“, вражеского агента, появившегося, скорее всего, в окружении высших должностных лиц СС» (с. 687¹), – позвольте, мы же знаем, это ведь он нашего Штирлица искал?..

Разумеется, ненадо преувеличивать это случайное, внятное лишь для наших соотечественников сближение. Хотя герой и рассказчик «Благовоительница»², оберштурмбанфюрер Макс Ауэ, преступен перед рейхом (по неполитическим статьям), скрывает свою истинную жизнь и обманывает следователей, но он никакой не иностранный агент и служит этому рейху не за страх, а за совесть, не останавливаясь перед самыми жуткими делами. На его примере видно, чем реально должен был заниматься какой-нибудь Штирлиц, чтобы сделать карьеру в СС, – прежде всего это участие в массовых убийствах, в «окончательном решении еврейского вопроса». Правда, Ауэ все время как-то умудряется служить не прямым исполнителем, а наблюдателем, офицером связи, аналитиком, разработчиком более или менее «гуманных» проектов реорганизации концлагерей. В разговоре с приятелем-врачом он пытается отмежеваться от настоящих палачей: «Я лишь наблюдаю и ни в чем не участвую», тогда как «некоторые из моих дорогих коллег здесь отъявленные мерзавцы». «Наблюдению без практики грош цена», – подхватывает собеседник, обыгрывая двусмысленность этих медицинских терминов (с. 190). Но в другой беседе, с сестрой, он без всякой словесной игры признает: наблюда-

¹ Здесь и далее ссылки на текст романа даются по настоящему изданию с указанием номера страницы в круглых скобках.

² Как известно, таков смысл имени «Эвмениды», которым древние греки опасно называли злобных Эриний, богинь мщения. Не будет ошибкой так и переводить название романа – «Эвмениды», – но поскольку автор все же выбрал для заголовка не греческий, а французский вариант «Les Bienveillantes», то и в переводе предпочтительным оказывается не греческое слово, а русский неологизм.

тель расстрелов – такой же их участник, как и те, кто стреляет. «Наступает момент, когда надо действовать, и уже неважно, кто исполнитель. Впрочем, думаю, что нес одинаковую ответственность, убивая и наблюдая за расстрелом» (с. 351). К тому же оставаться простым свидетелем удастся не всегда: Макс Ауэ участвует-таки в массовом расстреле евреев в Бабьем Яру, командует группой палачей и сам добывает раненых – а потом, вернувшись к тихой роли наблюдателя, изготавливает роскошный фотоальбом об этой «акции», чтобы командование с гордостью преподнесло его высшему начальству. Во время другой «акции» на Украине ему приходится отвести за руку к расстрельному рву испуганную еврейскую девочку и отдать ее эсэсовцу-палачу с «идиотской» просьбой: «Будьте к ней добры ...» (с. 88).

Значительная часть действия «Благоволительница», включая большинство самых страшных сцен, происходит на территории Советского Союза, и наша страна вообще сильно присутствует в книге и в личной судьбе ее автора. Джонатан Литтелл – сын американского журналиста и писателя Роберта Литтелла, автора известных шпионских романов, потомок еврейских эмигрантов конца XIX века, чья фамилия «Лидские»³ указывает на происхождение из нынешней Белоруссии. Сам он родился в Нью-Йорке в 1967 году, вырос во Франции (отсюда его билингвизм и решение написать свой роман по-французски), а в 1993–2001 годах, окончив Йельский университет, работал в разных странах мира как сотрудник одной из гуманитарных организаций; он провел два года и в России, в частности в Чечне, где однажды подвергся нападению каких-то повстанцев/бандитов, был легко ранен и чуть не попал в заложники⁴. С детства увлеченный историей Второй мировой войны, особенно на Восточном фронте, он впервые стал думать о своем будущем романе еще в университете, увидев на фотографии «труп русской партизанки, убитой нацистами под Москвой и превращенной в икону советской военной пропаганды»⁵, – то есть Зои Космодемьянской, чье имя, правда, не упомянуто в «Благоволительницах», а сам эпизод казни партизанки (другой, вымышленной) перенесен в Харьков, поскольку герой романа проходит службу на южных направлениях фронта – на Украине, Северном Кавказе, в Сталинграде. Джонатан Литтелл, знающий русский язык, специально ездил по этим местам, осматривая натуру; он основательно изучил и исторические сведения о нашей стране. Сдержанно, с почти научной объективностью он рассказывает об ужасных и отталкивающих фактах: о массовых расстрелах заключенных в западноукраинских тюрьмах НКВД сразу после начала советско-германской войны, о еврейских погромах, устроенных украинскими националистами после захвата этих приграничных городов немцами, о русских и украинских «вспомогательных добровольцах» СС, которым нацисты поручают самые грязные дела (впрочем, один из них, ординарец Макса Ауэ в окруженном Сталинграде, честно служит немецкому офицеру, несколько раз спасает его от смерти, сам не строя иллюзий относительно участи, ожидающей его после взятия города советской армией), об убийствах и насилиях, творимых русскими солдатами в оккупированных странах на исходе войны⁶. В мыслях

3 См. интервью Дж. Литтелла израильской газете «Гаарец» (Sat., June 21, 2008 Sivan 18, 5768).

4 См.: Paul-Eric Blanque, *Les Malveillantes : Enquête sur le cas Jonathan Littell*, Scali, 2006, p. 36. Это одна из нескольких книг, уже написанных о Литтелле и его романе.

5 *Le Figaro Magazine*, 29 décembre 2006.

6 Справедливости ради надо сказать, что действия западных союзников показаны не более гуманными: в романе подробно описываются их смертоносные авианалеты на Берлин, по поводу которых один из нацистских вождей высказывает гротескную (но, собственно, что в ней абсурдного?) идею: «После победы мы должны провести судебные расследования военных преступлений. Виновные в подобных зверствах еще за них ответят» (с. 393).

и разговорах действующих лиц неоднократно всплывает тема родства двух сильных и жестоких режимов – немецкого и советского. Нацисты, понятно, оправдывают этим свои преступления – дескать, не мы одни так себя ведем, – но в подобных сравнениях звучит и искреннее восхищение, даже признание некоторого превосходства своих врагов. Русские, размышляет Макс Ауэ, откровеннее немцев в своей жестокости, меньше скрывают ее под благоприличными эвфемизмами; в Сталинграде пленный советский комиссар доказывает ему преимущество мировых притязаний коммунизма перед этнической ограниченностью нацизма: «Я отношусь к вашему национал-социализму как к ереси марксизма» (с. 290); когда же Ауэ рассказывает об этой поразившей его встрече французскому приятелю – профашистскому литератору Люсьену Ребате (историческое лицо), тот разделяет его впечатление: «Я, ты знаешь, восхищаюсь большевиками. <...> Если бы не было Гитлера, я, наверное, стал бы коммунистом» (с. 370). Русские и советские мотивы проникают не только в политическую идеологию, но и в личную жизнь героя: со своей сестрой он тайно переписывается молоком, используя его как симпатические чернила: «Идею мы позаимствовали из рассказа о Ленине, найденного и тайком прочитанного у букиниста...» (с. 381).

Однако между книгой Литтелла и Россией есть еще и другое, не менее важное соотношение: в романе широко присутствует русская литература. Параллели с нею не раз проводились критиками; некоторые из них слишком банальные, и автор справедливо их отводит, например, сопоставление этого большого исторического повествования с «Войной и миром». Сходства с творчеством Достоевского он тоже склонен не признавать, но в данном случае уже менее обоснованно: и в «Преступлении и наказании», и в «Благоволительницах» герой совершает двойное убийство топором, мучается кошмарами, действует в бессознательном состоянии... И уж совсем бесспорны реминисценции из «Жизни и судьбы» Гроссмана, откуда в книгу Литтелла перекочевал эпизод спора между нацистским офицером и пленным комиссаром, и особенно из «Героя нашего времени» Лермонтова. Интеллигентному эсэсовцу, доктору права Максу Ауэ война с Россией не мешает восхищаться русской культурой, и, оказавшись осенью 1942 года в Пятигорске и Кисловодске, он не только читает (по-русски!) своего любимого автора, не только посещает его музей и место последней дуэли, – он еще и сам начинает жить как лермонтовский Печорин. Рядом с ним, словно по волшебству, появляется персонаж, соответствующий Вернеру из «Княжны Мери», – умный и симпатичный немецкий врач. Поссорившись с другим эсэсовским офицером – жестоким негодяем, который, оправдываясь перед коллегами за свою «неарийскую» внешность, лютует над беззащитными евреями, – Ауэ вызывает его на дуэль в точном соответствии с сюжетом Лермонтова (убитого спишем на партизан...). Его самоидентификация с автором «Героя нашего времени» может толковаться как очередное нелицеприятное уподобление России и Германии: у нас ведь нечасто вспоминают, что Михаил Юрьевич Лермонтов участвовал в кровавых карательных экспедициях против горцев⁷. А самоотожествление с Печориным вообще выводит Макса Ауэ за пределы исторической действительности, открывает перед ним, по словам также любимого им французского писателя Мориса Бланшо, «пространство литературы» –

7

См.: Эйхенбаум Б.М., *Мой современник*, СПб., Инапресс, 2001, с. 456. Трудно сказать, насколько эти сведения известны Литтеллу, вообще-то очень осведомленному в нашей истории. О кавказских «зачистках» образца XIX века говорится в «Казаках» Льва Толстого, глава XV: «...ваши черти солдаты в аул пришли <...> ребеночка убил какой черт, взял за ножки да об угол. Разве не делают так-то?» Аналогичный эпизод есть и в «Благоволительницах» Литтелла, дело происходит в 1941 году на оккупированной Украине, и убийство совершает немец.

пространство неопределенности, зыбкости, находясь в котором «никогда не знаешь, действительно ли ты в нем находишься»⁸.

Присутствие России/Советского Союза в «Благоволительницах» может по-разному восприниматься по разные стороны границы. У нас книга Литтелла способна прозвучать болезненным, но полезным напоминанием о прошлом, расчет с которым до сих пор не состоялся до конца, – в частности, о том, что наш народ страшнее многих пострадал от Второй мировой войны, но и сам несет долю ответственности за ее жестокости и даже за ее разжигание. На Западе же, где проведение параллелей между гитлеровским и сталинским режимами часто встречают с недоверием, усматривая в нем попытку смягчить ответственность нацистов, объяснить их политику необходимостью отвечать на советскую угрозу и т.д.⁹, – книга Литтелла (где подобные идеи действительно высказываются – но лишь устами самих нацистов!) неизбежно должна была встретить, и действительно встретила, возмущенную критику за «профанацию», банализацию памяти об истреблении евреев, за отрицание исключительности этого преступления¹⁰. Память о геноциде окружена культом, и в таких условиях реминисценции из классической литературы, помогающие увидеть в персонаже-эсэсовце не просто врага и преступника, но и мыслящего, чувствующего человека, тоже могут читаться как профанация святынь, «сведение свидетельства к литературе»¹¹, кощунственная попытка дать слово палачу вместо жертв.

Проблема стара: литература действительно все превращает в слова, в условные формы – даже самый страшный документ, самое трагическое свидетельство. Когда в 1952 году французский писатель Робер Мерль выпустил роман «Смерть – мое ремесло», вымышленные мемуары коменданта Аушвица, то писатель и поэт Жан Кейроль, сам бывший узник немецкого лагеря, осудил его за недопустимую беллетризацию исторической трагедии. Между тем роман Мерля (переведенный на русский язык) был довольно неприятным, добросовестно-натуралистическим повествованием. Случай Джонатана Литтелла гораздо сложнее. Писатель проделал огромную работу над источниками, его книга не имеет ничего общего с безответственной псевдоисторической беллетристикой. Этот толстый том полон точными фактическими данными: именами, географическими названиями, цифрами, – и за годы, прошедшие после ее выхода, самые придирчивые историки нашли в этой массе фактов лишь кое-какие мелкие ошибки, не подрывающие достоверности целого. Но вместе с тем в некоторых местах – и чем дальше по ходу действия, тем чаще, – повествование открыто порывает не просто с исторической точностью, а с элементарным правдоподобием: незаметно, без всяких композиционных швов, оно соскальзывает в пересказ снов и бредовых видений (некоторые из них так и остаются неразрешенными до конца – то ли это примерещилось герою, то ли все-таки было на самом деле), в переделку греческого мифа о матереубийце Оресте (которого как раз и преследовали «Благоволительницы»-Эринии), в реминисценции из художественной культуры. Источниками последних служат не только шедевры русской прозы или средневековой европейской поэзии¹², но и массовая культура, вплоть

8 Так сам Литтелл объясняет это понятие в интервью (*Le Monde des livres*, 16.11.2006).

9 У нас до сих пор мало известен знаменитый «спор историков» в Германии 1980-х годов по этому вопросу, в котором участвовали, в числе прочих, историк Эрнст Нольте и философ Юрген Хабермас.

10 Так, в частности, оценивает ее французский эссеист и переводчик Пьер-Эмманюэль Доза: Pierre-Emmanuel Dauzat, *Holocauste ordinaire*, Bayard, 2007, p. 53.

11 *Ibid.* p. 181.

12 Уже отмечалось, например, что обращение к «людям-братьям», которым Макс Ауэ начинается свой рассказ, является цитатой из «Баллады о повешенных» Франсуа Вийона. По словам